

Малышки

Банды радости

Повесть

ЧАСОВ В ОДИННАДЦАТЬ тилидинь мобильник. На улице уже ночь, еле уместающаяся в оконные рамы, где-то гудит шоссе. Лена судорожно ищет на полу телефон, чтобы не дай Бог.

— Что там за звуки у тебя?

Ну да, понятно. Мы и не рассчитывали как бы. 1:0 в пользу небес — снова.

— Это телефон, мам! — устало-рассерженно.

Нащупала. Динара.

— Лен, дуй сюда быстро! — кричит в трубку, задыхаясь; несмотря на разницу в пять станций оранжевой, пересадкой и две вниз, чувствуется, что сжимает мокрыми ладошками телефон так, что тот едва не вылетает из рук. — Рыбка пограничница!

— Сейчас приеду, — еле слышно произносит Лена.

В коридоре желтыми пятнами на полу свет приоконного фонаря, вспухнувшие пузыри линолеума, потому что кто-то когда-то в какую-то из очередных зим развешивал плохоотжатые

(специально) тряпки по батареям. Дышится, говорят, легче.

— Лена! — включается свет и становится сразу так, будто сейчас придется прыгнуть куда — или взлететь, в любом случае, оторваться от; проснулась мама. — Что случилось?

Лена прыгает на одной ноге у самой уже двери, пытаясь натянуть кроссовки. Что говорить, когда в голове еще невыспанный за четверть ночи сон, когда телефоны звонят так не вовремя (или, верней, даже в очень_нужный_момент)? Что говорить, если долбанных шестнадцать лет пытаешься безуспешно докричаться до матери, и тут — вдруг — посреди ночи у тебя спрашивают такое простое «что случилось?».

— Мам, мне надо.

— Что тебе «надо»? Куда еще собралась? — она выползает из своей комнаты и, включив в коридоре свет, становится рядом с дверью.

Ленина мама сердито скреживает на груди руки, хотя, если честно, грудь эта никогда не знала креста. Скреживает сердито руки и сердито же добавляет погрузневшим тотчас голосом (*повелитель*):

— Ты никуда не пойдешь. Ночь на дворе! Ишь удумала еще.

Лена не отвечает, проходит мимо, быстро-быстро влезает одной рукой, потом другой в

ветровку, и, уже открывая ключом входную дверь, чувствует, что мать, кажется, вцепилась ей в плечо и изо всех сил тянет на себя, назад, внутрь квартиры.

— Кому я сказала?! — почти утверждением, почти рыком. — Витя! Иди сюда, помоги мне!

Из спальни послышалось шуршание и раздраженно-усталый полувздых, полустон. Мыслитель-Витя, вечнозанятой Витя, Витя_мне_нет_до_этого_никакого_дела, Витя-менеджер по продажам, глава отдела, все дела... Витя отчим.

— Че вы орете? Мне на работу рано вставать, имейте блин совесть! — и, будто немного подумав, уже тише добавил: — Чертовы бабы.

Ленина мама, удивленно и отчего-то растерянно, по инерции прислушивалась больше к мужниным бормотаниям (слава Богу, что именно к ним, а не), чем к дочери, которая тут же вырвалась и хлопнула (так уж вышло, мам, извини) дверью.

Наверно, в этом есть какой-то смысл, ведь его не может не быть. То, что любая деталь вокруг имеет свое значение, Лена знала наверняка: не от опыта, а потому, что это являлось той минимальной справедливостью, которую можно было без особых затрат себе позволить.

Бегом до метро, которое пока еще открыто, мимо вечных пивных гуляк у круглосуточного продуктового, веселье которых зарождается из угрюмости и которое в угрюмость спустя полторы бутылки перетекает.

Лена не думает о том, о чем, кажется, надо бы думать. Она не представляет себе стремящуюся вверх бровь, усмешкой обрамляющую алые губы улыбку — Рыбкино лицо, которое теперь, наверное, сильно изменилось — ей самой или кем-то другим. Кажется, Лена вообще ни о чем сейчас толком не думает; лишь принимает как можно усерднее информацию извне.

Только в метро, сбежав по эскалатору вниз, прыгнув в вагон, обхитрив через секунду закрывшиеся двери (не успели! — не успели!), Лена почувствовала, что внутри все дрожит, желудок крутит, а в руках слабость. Кажется, вот-вот выронишь саму себя; упорхнет — не дозвонишься.

Каждые двадцать секунд — взгляд на мобильник. Время не то чтобы слишком спешит, но и не медлит. А поезд, гудя, кряхтя, свистя, кажется, почти не двигается, а если и да, то недостаточно быстро.

Лена по привычке трет ладони друг о друга, еще не зная, что у Динариного дома собрались

почти все, кто мог вырваться ночью; Лена трет ладони до горячей боли, словно раскаленным утюгом старший брат по плечу шесть лет назад, когда тебе всего девять.

— Почти десять! — расстроено потом врачу в травмпункте.

Наверное, это тоже было не просто так, ведь у всего есть свой смысл. Безусловно, думает Лена и на всякий случай кивает головой. По-другому и быть не может.

* * *

Ключи из рук на багажник субару и дальше в руки — на, возьми.

Бьюсь об заклад, проносится в рыжеволосой голове, что купил себе новую машину из карманных денег, что всегда с собой, «так, на всякий пожарный», а свою старую отдал, и так просто, на следующий день после сбивчивого сообщения на автоответчик. «Зачем тебе машина?». Встретились у его офиса, чтобы не тратить попусту времени. Хотел послать с ключами девочку, но передумал — зачем кому-то вообще знать о его дочери, неудалой такой себе тыковке? Стертая мамина девичья фамилия вместо пла точка из кармана выглаженного пиджака, слава Богу, еще хранит хотя бы это (а толку-то?). Большая шишка. И потом глядит, будто ты его секретарша, не успевшая вовремя подготовить документы на увольнение многих ненужных; кризис не миновал самые стойкие души. Милый папочка, прости, что я стою сейчас перед тобой, прости меня!

Замолчи, бестолочь, засунь свои извинения в...

Папулик устало смотрит (все равно, что не смотрит вообще, с видом «у меня и так много дел»), и тебе неловко его задерживать, ведь кто ты, в конце концов, такая? Он платит за твою квартиру, он платит за твою учебу, и даже работу нашел тебе именно он — после всего, ты только вспомни!, что случилось. Благодарности мои, проносится в голове, ему не нужны. Отстала бы, и это самое ужасное.

Сейчас — трезво оценить, что говорить можно, а что нет. Сейчас — не вылиться наружу миллиардом слезинок, ведь смотрят вокруг да и вообще как-то неприлично. Сейчас — сказать спасибо и не задерживать больше никого, и себя в том числе. Сейчас — не закричать и не расплескаться, о нет, тыковка, только не закричать и не расплескаться.

— Ты еще и куришь? — морщится, когда замечает вдруг силуэт сигаретной пачки в карма-

не; ответ ему, понятное дело, на хрен не сдался. — Ну? Все у тебя?

Испугавшись, растеряйся, ведь ему гораздо приятней будет видеть твою привычную слабость, твою привычную немоту и привычное — уже свое — всезнание. Ладно, пап, если тебе это так необходимо... Ключи от машины вертит в руках, изображая неловкость и практически страх, боязнь новых разочарований: в себе, в своем. Папулик снова недовольно морщится, в мыслях — чуешь — «Господи, ну почему она такая...»

— твоя?

Хочется нарушить табу и назвать его по имени, сказать «папулик», но нельзя, нельзя, рыжий Телемах, навсегда потерявшийся в машинных елочках Дедал. Еще ниже опускаешь голову негласным преклонением. Изнутри так и просится «папулька, милый». Замолкни, тыковка, ты знаешь, что так не пойдет, просто заткнись, бери свои гребанные ключи и проваливай. Поезд ушел, твой последний поезд ушел, и ты прекрасно это знаешь. Тысячу выпитых пакетов молока назад вы сидели за обеденным столом в последний раз — и все вместе: ты, он и мама, без истерик, без топаний ногами, без хлопаний дверей. Но теперь не то, и даже не думай раскисать, ведь ты знаешь, что из этого выйдет, а, точнее, не выйдет ничего. Да, тыковка, знаешь, а теперь говори спасибо, поджимай в привычной неловкости губы и укатывай; так, блин, будет лучше.

Вилка испуганно отворачивается к машине, но в последний момент все же вырывается смущенное:

— Спасибо, пап.

* * *

Нет, травмы никакой не было. То есть... не то чтобы не было, просто она не причиняла Лене особых неудобств. Разве что обратиться на улице к незнакомому человеку было трудно, но это ведь, в конце концов, не так уж и необходимо.

— К тому же я стала самодостаточной, — как бы гордясь, заявляет в одну из пятниц за общей беседой.

— Хрена с два это самодостаточность, — обрубают Вилка, не отрываясь от сеги. — Это хрень галимая, вот что это такое.

Если честно, Лена сама знала все то, что бурчала время от времени ей короткостриженная рыжая Вилка, владелица грозовой папулькиной субару, но сил признаваться не было, потому что за признанием, а особенно само-, всегда сле-

дует переориентация, новый подъем, попытки разрешения.

— Меня это иссушит, и я разрушусь, — почти плача приникает к самой красивой и умной девочке банды — Рыбке. — Я не хочу погибать, я не смогу, как ты: сломать одну часть, чтобы росла другая. Мне, — пряча лицо в Рыбкином плече, — всего шестнадцать.

Шестнадцать: младенческое переодевание в почти взрослые рамки. И дальше: мысли о мужчине, потом о себе, потом о мужчине и снова о себе, и почти всегда — слезы, которые потом сменяются угрюмой злостью.

Когда все это случилось, ну-ка, вспомни? Не вчера же, не месяц назад, и уж точно не сегодня, когда вдруг звонок от Динары и неестественный, взволнованный голос-почти-крик — «Рыбка!». Совсем не тот, абсолютно не тот, что говорил в ответ на твой вопрос когда-то (вспоминай же, когда!):

— Да ничем мы тут особо не занимаемся. Ну... разве что болтаем о всяком.

И потом тот разговор, самый первый, когда в Динариной квартире трое девчонок всего, трое самых крутых девчонок из самой крутой в мире банды. Малышки радости.

* * *

— На самом деле это довольно трудно. Ну, знаешь, из-за всей этой рекламы.

— Навязывание стандартов, да.

— И родители не понимают часто. Доканывают своим «худей, худей, ты же красивая, только не следишь за собой»... Ну, или что-то в таком роде. У нас знаешь сколько девочек приходит сюда искалеченных собственными же мамашами? Жесть на самом деле. Еще хорошо, если не пограничники, тогда мы можем помочь. А так... только клиника. И это самое страшное.

— Самое страшное, точно.

Рыбке было в тот день двадцать пять (и еще триста шестьдесят четыре дня в довесок — в плюс или минус) и она — самая старшая из всех девочек банды. Если честно, они никакая не банда, просто звучит дерзко и ярко, потому и прижилось. Ну и привычка; это тоже сказалось, разумеется. Кто-то когда-то в шутку поднял очередную бутылку газировки, улыбаясь сверх возможного — с того и повелось.

— Да ничем мы тут особо не занимаемся, — пожимала в тот день плечами Динара. — Ну... разве что болтаем о всяком.

Динаре было тринадцать лет, когда её избили одноклассники. Гаражи глухого бесфонарного района гремели жестяной осенью, влажными листьями и щелчками камеры мобильных. Динаре сломали два ребра и вывихнули плечо, а еще сожгли волосы: так, что она оказалась почти лысой.

— Ничего, живая, — улыбнулась Рыбка.

— А за что её так? — ничего не понимая, спросила в тот самый первый день Лена.

— За что-о-о? — встряла рыжая Вилка ометаллевым голосом. — Да фиг их знает — вот за что. Уроды конченные просто, вот и весь разговор.

Постоянного количества девочек в банде не было: кто-то уходил, потому что выздоравливал; кто-то просто так; кого-то уносило в другую сторону и очень часто топило. В любом случае, количество не превышало обыкновенно десяти человек.

В тот день, когда в Динариной квартире появилась Лена, в банде радости было четыре девочки, покалеченные, придавленные, но все-таки желающие (подчас и не очень) жить, включая самую главную по всем вопросам — Рыбку.

— Мне еще повезло, что я вовремя на банду вышла, — продолжала, смеясь, Динара. — Потому что иначе точно порезалась бы.

— Бе, — тут же сморщилась Вилка. — Уж лучше из окна. Драматичней как-то.

Улыбнулись.

Почему-то на выходе срабатывает валидатор и больно жалит по бедрам, как тогда — братнина любовь утюгом по руке.

— Черт побери! — боком вылетая из метро.

Если бы сейчас, как когда-то на Динару, навели камеру, Лена разбила бы её о самого оператора.

Ладонки горят и, будто по проводам, доставляют жар и к лицу. Злитесь. Холодный, все еще по-ранневесеннему, воздух сдувает (или прячет; выход из комфортной зоны, а вдруг кто-то заметит?) всю ярость и куда-то уносит. Ну и ладно. Вот и хорошо.

Самодостаточность, самая любимая галимая хрень из всех тех хреней, что только случались в Лениной жизни.

— Ты ни на что не способна, понимаешь ты это или нет? — говорит погрузневший мамин муж, позвав как-то раз Лену на кухню.

На столе уже несколько приконченных бутылок; жилистыми руками с коротко остриженными ногтями (коротко-, но все же удивительно

грязными), Ленин папа (*неужели так сложно звать его отцом? Господи, ну сделай милость хоть раз в жизни, не чужой же он нам человек! ну что ты, в самом деле, как маленькая*) в каком-то усердном беспамятстве скребет прожженную и местами выцветшую оранжевыми пятнами клеенчатую скатерть.

— Ты вот что всегда делаешь? А? — продолжая скрести.

Лена тихо стоит в дверном проеме, как бы сохраняя границы, имитируя водораздел, люстровый желтый неприятно режет глаза, светочувствительность; Витя — отчим — отчего-то прямо под люстрой.

— Вот приходишь из школы, ну? — голос все больше грузнеет и словно наполняется тягучим металлом, черная патока со знаком минус. — Я с тобой разговариваю, ты!

У Лены начинает трястись подбородок; ей страшно заплакать, потому что в прошлый раз он, увидев слезы и разозлившись, больно тормошил её за плечи, требуя ответа, а после — ударил по лицу.

Лена осторожно трогает рукой то место чуть ниже локтя, где едва виднеется заживший след от ожога, стараясь не смотреть на Витю. Тот что-то мычит, грозно клокочет хронического бронхита горлом и продолжает раздраженно-сосредоточенно скрести скатерть.

Ленина мама сегодня задерживается на работе. Ленина мама знает достаточно, но предпочла бы не знать. Ленина мама — Лене — вменяет, просит звать «папой», суеверно надеясь, что от этого все переменится, присвоится, сроднится. Ленина мама из тех простодушных, в ком собралась до срока народившаяся старческая наивность и такой же старческий, грубо-рабочий нервный страх, что все в любой момент может исчезнуть.

Сейчас Лена бежит из метро до Вилкиного дома, пятиэтажной желтой хрущевки, где почти на уровне голубей трехкомнатная квартира. У подъезда Миша и все девочки, кроме, понятное дело, Рыбки.

— Ну что? — запыхавшись. Успела.

— Ща поедем в больницу, хотя не уверена, что нас к ней пустят, — спокойно произносит рыжеволосая Вилка.

— А что...? — хотела было Лена, но тут же кто-то:

— Порезалась. Дура!

— Сама ты, — мгновенно, словно автомат, заревела испуганная Крохотка, — дура!

«Папулькина машина» посреди дороги, любимаая субару для любимой тыковки, благо ночь и никому не надо. Миша, Вилкин муж, садится за руль, Динара рядом, а все остальные, шмыгая носами, залезают назад.

* * *

Лена знала, что, когда Крохотке плохо, и она, вытаращив глаза в каком-то полуобмороке-полушоке бродит по квартире (или улице, если вечером из кинотеатра, где до дрожи), все бегут за Рыбкой.

— Рыбка, Крохотка опять...

— Сильно? — тут же перебивая.

— Ревет сидит, — пожимает плечами беспомощная на сегодня Вилка.

— Ладно, ждите меня.

Рыбке не надо объяснять, что Крохотка опять насмотрелась каких-то людей, или фильмов, а потом наглоталась воспоминаний, и вот теперь принеслась, выворачиваясь наружу, к Динариной квартире, как раненый олень приходит к ветхозаветному лесничему домику.

Крохотку тошнит душой, она дрожит, жмурится и приникает (*про-?*), сжимая холодными влажными ручками того, кто ближе. Конечно, оно пройдет и само, но перед этим нужно уложить спать, чтобы сонное подлечило изнутри, а они не могут так долго ждать, потому что Крохотка пищит и плачет, плачет и пищит, собравши остроколеночные согнутые ноги вместе и обхватив их для верности руками. Ведь, если вылетает душа, нельзя позволить сбежать и телу.

— Мне плохо, плохо, я не могу, я...

Рыбка спешно целует где-то там, в собственной (Олегиной) квартире, проснувшегося тут же рядомлежащего Олега, который, приподнявшись и сонно стараясь разглядеть в темноте короткостриженную Рыбкину голову, спрашивает:

— Я нужен?

Рыбка говорит: «Спи», небрежно рукой по голове, словно собаку (*будь верен мне, не обмани, будь верен мне, этого достаточно*); не включая нигде свет, звякает ключами у входной двери и, шепнув что-то, выходит.

— Это заболевание какое-то, что ли? — любопытствующим шепотом спрашивает недавно прибывшая в банду — уже после Лены — Катиш. Пока Динара, обнимая-успокаивая Крохотку, сидела в гостиной, трое сумевших выбраться из дома девочек, то и дело поглядыва-

вая в окно, ждали на кухне. Их по странному (не для Лены) ничего не тяготило, как, пожалуй, могло бы, и, наверное, должно в таком случае. Лена спокойно предложила сварить кофе, и все, спокойно подумав, спокойно же согласились.

Лена подумала, что было бы, если б такое случилось вдруг с ней. Например, во время физкультуры в холодном (даже если грохочет грозовой май за окном) подвальном спортивном зале. Все тело ослабевает, руки-ноги не держат; обмякшая, сваливаешься на пол и, кажется, вот-вот вывернешься наизнанку.

У Лены гастрит и она прекрасно знает, как люди выворачиваются, если желчные протоки забиты и горечью отсылает время от времени к горлу. Варя кофе на Динариной прокопченной кухоньке, Лена на всякий случай провела языком по небу. Все для чего-то необходимо. Черт возьми, это так. И, если б она и свалилась, немощью придавленная, громадностью мира подкошенная, это тоже было бы для чего-то там — наверху, не здесь — нужно.

— Болезнь, да? — так и не дождавшись ответа, повторила ничего не понимающая Катиш.

— Хороший слух, — ответила про себя Лена.

Рыбка разбила за двадцать пять лет своей жизни шесть зеркал, два из которых для того, чтобы окрасить багровым кафель ванной. Динара — ни одного, однако осколками чужой ненависти поранила себе кокору на тысячу люстровых фирм вперед; так что она теперь — самодельный мастер-стеклодув — first class, все дела.

Негласное противостояние с огненноголовой (в прямом и переносном) Вилкой, негласное понимание и принятие её и того, что бы она с собой не принесла в очередную из встреч.

— Как же все достало, — устало плюхается на диван и закрывает глаза руками.

— Хочешь, послушаем музыку? — тут же отзывается Динара.

— Все равно, — не открывая глаз, а внутри клочечет и молит, кричит, шаманским бубном призывая благостную силу Динариной — или кого-то-ни-было — поддержки.

Шесть перебитых зеркал, Боже мой, как же это неимоверно много! — и в каждом осколке по испуганно-бессмысленному лицу, еще не знающему, что через секунду сюда прибежит отец, а еще через пару тысяч — сигнального рева неотложка, неуклюже паркуясь на узенькой, стиснутой пятиэтажкой с одной стороны и детплощадкой с другой, улице.

— Мне плохо, я не могу, я не могу, меня тошнит, Динааар.

Болезнь — не болезнь, болезнь или все-таки нет. Пей свой чертов кофе, госпожа вопросительный знак, новоприбывший засушливый ветер дороги перемен, которых не ждут, но на которые все же надеются. Правило банды номер раз — никого и ни за что не судить, даже если кажется, что способен и вообще необходимо. Из турки бурлит кофе, поднимаясь и желая по плите до окна и вниз. А потом, кто знает, наймет такси и в аэропорт на какие-нибудь Мальдивы с пересадкой.

Сейчас придет Рыбка, не разуваясь, кинется прямиком в гостиную. Погасит там свет, прогонит Динару на кухню и, задорно повторяя: «А ну-ка, ну-ка!», поставит на полную Глена Миллера.

— Давай! — улыбаясь, протянет руки в темноте к Крохотке.

— Нет, — по-детски замотает головой Крохотка и съезжится на диване. — Не могу.

По квартире раздастся веселая «In the mood»: саксофоны, трубы, флейты...

— Давай-ай! — заулыбается еще сильнее Рыбка, во что бы то ни стало обязанная вытащить из самого глубокого омота, в который её ни затянет.

Если и тогда детское «не!», Рыбка возьмет за руки, насильно вытянет, как докучающий активностью кавалер на танцах и, все так же улыбаясь (и даже, кажется, еще шире), снова повторит — тихо-тихо, растекаясь горячей сладостью почти сумасшествия. Давай!

Крохотке будет плохо, ой как плохо, Крохотку будет выворачивать, но отчего-то она услышит Рыбку и поверит ей, да, Господи мой Боже, поверит, и отчего-то же — нехотя, с трудом, — начнет танцевать. Сначала из-за послушности, потому, что не в силах противостоять (и по внутренней страшной догадке, что именно это сейчас — единственное, что может спасти), а потом все легче и легче, быстрее и быстрее и, в конце концов, так, что громко засмеется, счастливая, дрожащая, но уже не болезнью, а её отступлением, плача и одновременно кривляясь такой же плачущей и кривляюще-дразнящейся Рыбке.

Пройдет минут двадцать, и они выйдут: обе улыбающиеся, довольные и вообще в полном порядке.

— Кофейку? — тут же спросит Лена и, не дожидаясь обязательного короткого кивка, протянет им две чашки.

* * *

Да, Олег уже в больнице, и Лена хорошо это знает. По-другому не может быть, и от этого, наверное, она и не маялась в метро и потому так собрана теперь. Когда Рыбка разбила своё последнее зеркало около двух лет назад, Олег, уже бывший на тот момент и бывший на тот момент уже её, молча принес зеленку и марлевые повязки к ошарашенной, раздавленной и напуганной Рыбке. А вечером, когда свернувшись в одеяловом коконе, Рыбка смотрела фильм, лег рядом и произнес:

— Давай договоримся. Если когда-нибудь тебе еще раз захочется что-нибудь разбить, лучше просто скажи об этом мне.

Лена не помнит, откуда она знает эту историю, почему в ней морской волны свет и пахнет чем-то сладким, когда на самом деле, в реальности, так вряд ли могло бы быть; но как было на самом деле, она не знает, а потому вправе додумать по своему вкусу сама.

Как бы то ни было, Олег уже там. И на данный момент это самое главное.

* * *

Когда-то в одном журнале, где публикуются всякие советы для современных-стильных-молодых, а на обложках улыбаются счастливые и манящие одновременно, самодостаточные (— вольные?) женщины (*сильные мира сего, мир сотворившие, в мир заключенные*), Вилка прочитала, что вождение не только помогает стать независимее, но и сжигает лишние калории, а именно — жирок на животе и над локтями. Вилку всегда называли шваброй, или палкой, или даже селедкой, но отчего-то ей подумалось, что купить машину («папину машину») и научиться водить её до чертиков необходимо.

И она купила (пап!).

И научилась.

Поначалу это должна была быть машина, в которой она каталась бы по утрам вместо пробежки, но потом, как это всегда бывает, цели сменились, желания переосмыслились (*потому что за признанием, а особенно само-, всегда следует переориентация, новый подъем, попытки*).

Совсем скоро Вилка решила, что в этой машине она хочет умереть.

Сброситься с обрыва.

Она, понятное дело, никому об этом не говорила и, пожалуй, даже себе самой. Вилка не предавалась мучительным рассуждениям, не про-

сыпалась среди ночи с колотящимся сердцем, когда изнутри раздрает вопросом «а надо ли?» и до боли обжигает обидой. Нет. Вилка по-прежнему просыпалась в шесть двадцать, делала утреннюю разминку, завтракала и уезжала на работу, которую нашел ей папулик — в той самой машине, которую папулик ей отдал. Если бы Вилку спросили в тот момент, зачем она хочет убить себя, она не нашла бы ответа (может, просто где-то вычитала и показалось красивым?). Пожала б плечами и поджала виновато губы, как бы извиняясь за невыученный урок, если на дворе гремит жизнь девятиклассного года. Но никто не спросил, а потому не требовал ответа, и Вилке было наконец-то — возможно, впервые — спокойно и легко жить, зная, что жизни этой осталось совсем немного (два десятка походов в магазин за хлебом, одна упаковка шампуня (еще останется даже) и новая страничка показателей с весов в блокноте).

Своему парню, уехавшему работать в Штаты, она каждый вечер желала спокойной ночи, тысячей километров отгораживаясь через веб-камеру. Иногда снимала майку и показывала грудь, если попросит, чтобы он не скучал там особо один. Ей не очень это нравилось и вообще казалось глупым; уж лучше бы они расстались вообще, чем для чего-то продолжать вот так, но... Все в этом мире, думала Вилка, имеет особый тайный смысл, и эта хрень, похоже, в том числе.

Было жалко кошку. Это, пожалуй, единственное, что заставляло Вилку переживать по поводу своего ухода из жизни. Куда её деть? Родителям же не отдашь, мама не в состоянии, у папы аллергия и вообще нелюбовь (во всем, всегда. Субару Вилке — не любовь, а так, просто чтобы отвязалась), подруг у Вилки не было... Отправить самолетом в Америку? Не говори глупостей, тыковка. Все это полнейшая чушь.

Один раз Вилка решила избавиться от кошки сама — выкинуть на улицу. Второй этаж, можно и из окна, ничего ей не случится. Вышвырнешь, как заплесневелый хлеб, закроешь форточку, никто и не заметит.

В тот вечер Вилка смотрела фильм, перед этим послушно оголившись для американского парня, затем поругавшись с американским парнем, — и села, обложившись подушками, за ноутбук. Кошка лежала тут же, на коленях, извиваясь от удовольствия и захлебываясь урчанием. Вилка все еще гладила её — абсолютно бездумно, —

даже тогда, когда пошли титры и по комнате зазвучал финальный саундтрек. В фильме снимались.

Лена спросила как-то, о чем думала в тот момент Вилка. Не о том же, что, во что бы то ни стало, ей нужно выбросить любимую кошку из окна. Но Вилка не знала ответа и почему-то ей было страшно его искать.

Когда закончились даже титры и на ноутбуке высветился черный экран, она встала, скинув кучу подушек, подхватила еще урчащую кошку и направилась к балкону. Выйдя на морозный ночной воздух в одних трусах и футболке, молча вытянула вперед руки, сжимавшие извивающуюся над заснеженным палисадником напуганную кошку.

Куривший в тот момент балконом выше сосед дядя Толя скажет потом своей жене, крупной дебелий женщине, что Виолка-то, ну та, рыжая из пятьдесят седьмой, зачем-то кошку мучила, выбросить, что ли, хотела. Я только сейчас видел. Ой, чума... Совсем она там, что ли, свихнулась? Пять минут её держала над землей, а потом обратно унесла. Больная.

— А че ты все за ней следишь-то, а? — ответит тогда ему дебелий женщина. — Я те дам на тот балкон поглядывать, кобель недоделанный, я...

Милая моя, думает вернувшаяся в квартиру, испуганная самой собой Вилка, прижавшись к холодному дымчатому меху кошки. Милая моя, что за черт с тобой творится? Что ты делаешь? И далее, уже вслух, к самой кошке:

— Кисонька моя, моя хорошая киска, прости, прости меня, — и заплакала.

Вилка хотела сброситься с обрыва в машине, съехать на полной скорости — и разбиться, потому что так было эффектно, по-пацански и вообще драматично. Но особо крутых обрывов в городе, сколько ни ищи, не было, так что пришлось ограничиться детской горкой у замерзшего зимнего берега паркового пруда.

На следующий день после ночных слез и напештываний испуганной кошке Вилка тщательно вымылась, взвесилась, записала, как и многие утра подряд, цифру с весов в блокноте; затем старательно прочистила уши специально купленными для того ватными палочками, уложила волосы и напоследок накрашила губы коралловым блеском (скидка тринадцать процентов в честь Нового года). Затем, внимательно оглядев себя в зеркале, стерла блеск и растрепала

ла волосы. Хоть в последний миг иметь достоинство прожить откровенной.

Доброе утро дядь Толе у подъезда, вычистить машину от небольшого слоя снега (ясно, временами облачность, ночью ожидается небольшой снегопад).

До парка, в котором замерзший пруд и целая стая детских горок, звенящих в выходные дни, двадцать минут на машине. И в самом парке, медленно скрежеща колесами по рассыпанному тут и там на бледных озимых дорожках неестественно рыжему песку, от силы семь. Сев в машину, маленькую неуклюжую субару девяносто восьмого года, подаренную любимым отцом для нелюбимой (только не трогай меня, Господи, живи как хочешь, только не) дочери, Вилка включила магнитола, поставив диск хитов Boney M.

Умирать, так с песней.

Чего и говорить, Вилка не была из тех придурочных, что режут вены или пытаются выпрыгнуть из окна. Сказать по правде, она никогда не думала о самоубийстве, и даже более того — считала все это бредом чокнутых ненормальных. «Чокнутые ненормальные» — один из перлов американского веб-камерного дружка, которого если и можно было за что-то поблагодарить, то только лишь за острый язык, переполненный всякими забавными выражениями вроде этого. Чокнутые ненормальные — вот кто себя убивает, всегда считала Вилка. А теперь зачем-то пытается счастье сама.

Казалось, скрежетал не только песок, принимая колесный удар колеей парка, но и лесной воздух, ударяясь о лобовое стекло, скользя по крыше и скатываясь, невесомый, по бамперу вниз — и дальше, по своим делам.

Вилка сбавила скорость, так как покалечить лениво прогуливающих мамочек с колясками (штук двадцать-тридцать патрулировали парковые дороги, несмотря на будний день) было бы верхом наглости. Погибаешь, так будь добра, не тащи за собой никого другого. Никто тебе ничего не должен, никто перед тобой не виноват. На этом пути нет соучастников и лучше понять это как можно быстрее.

Подъехав к самому крутому месту берега, мини-, но, все-таки, обрыву, малышу-обрывку, Вилка оглядела огромный заснеженный берег с небольшими полосками проложенной круговой лыжни, на детей, что все-таки скатывались на санках, но — слава Тебе, Господи и Пресвятая Дева Мария, — с противоположной стороны.

На всякий случай Вилка вышла из машины, и, встав у самого края, как можно громче крикнула, обращаясь к родителям противоположно-бережных детей:

— Эй! — помахала руками. — Уходите, прошу вас! Уходите!

Кажется, одна из родительниц обернулась, посмотрела на маленькую точку вдаль — Вилку, — но все-таки это только кажется. Расстояние слишком большое для слабого Вилкиного голоса, который сейчас, почему-то, совсем сел. Постояв так немного, помявшись, взглядываясь в разноцветные яркие курточки детей, Вилка вернулась в машину.

Рассчитав путь, необходимый для того, чтобы хорошенько разогнаться и разбиться наверняка, она отъехала на должное расстояние и, не выключая все еще играющий диск Boney M, вытащила из бардачка купленные заранее пачки сигарет. Вилка не курила, но отчего-то ей показалось, что в такой момент обязательно захочется и на всякий случай надо держать пачку-другую. Упаковка женских Virginia slims и красный Bond как альтернатива. «Зачем тебе это? — насмешливо папа в тот день, когда передал ключи от машины. Вечнозанятой папа, папа-оставь-меня-в-покое, погребенный в бумажках и бумажками жизнь свою измеряющий. Выкроил время из пестрой нарезки будничных заседательных дней. — Ты что, еще и курить начала?» Поглядев на сигаретные упаковки и немного подумав, выбрала вторую и, повертев растерянно в руках, принялась распаковывать. Через какое-то время сигарета наконец очутилась в замерзших Вилкиных пальцах. Принюхавшись, она сунула её в рот и, посидев так немного под музыку, беспомощно огляделась, ожидая не то сигнала, не то прихода. Boney M продолжала петь. На другом берегу играли дети и, если прислушаться, можно было представить себе их хрустальный звенящий визг, обцелованные колким морозом щечки и намокшие носы. Лене не терпелось. Она посмотрела, ожидая чего-то, с чувством незавершенности в одно окно, в другое, нервно пожевала во рту сигарету и задумалась, пытаясь понять, что же не так. И что дальше? спросила она саму себя.

— Твою мать! — рассержено шикнула вдруг она, поняв, что не так, и мотнувшись от досадной злости всем телом. — Зажигалку-то я, блин, не купила!

Разозлившись, Вилка выплюнула обжеванную сигарету и нажала со всей мощи на педаль газа.

Должно пройти семь секунд. Семь сраных секунд, после чего нужно отпустить педаль и просто ждать. Семь секунд — и, лишившись земляного настила, машина проедет еще какое-то время в воздухе, нелепая и устрашающая, а потом со всей дури грохнется вниз. Дай Бог, если разобьюсь. Если нет, то дай Бог, если проломлю лед и во всяком случае уйду под воду. А если и в таком случае нет, то, гребанный Бог, ты мне такой на хрен не сдался.

Выплюнув беспомощную сигарету, Вилка надавила что было сил на педаль газа. Шины взвизгнули, машину чуть тряхнуло, но тут же выправило и послушно понесло вперед. В салоне затянула веселая «Sunny».

* * *

Есть ли в этом мире Бог или нет, Вилка не знала. В любом случае, либо Он не услышал её совсем, либо все-таки услышал — и даже лучше, чем ей того хотелось бы.

Упав с пятиметрового обрыва_больше_склона, машина перевернулась на бок, устало и недовольно одновременно выдохнув мотором, и замерла, все еще крутя по инерции колесами.

Ударившись головой о пассажирское стекло, Вилка на несколько мгновений потеряла сознание и, когда к машине подбежали двое мужчин и постучали в окно, даже не поняла сначала, в чем дело. Затем, проморгавшись и потеряв ноющую голову, Вилка подняла глаза и увидела, что сверху, посреди виднеющегося из водительского окна неба, на неё смотрят двое мужчин, что-то говоря и показывая пальцами куда-то вниз.

Наконец Вилка поняла, что случилось. Ни черта она не разбилась, даже не ушла под воду — перевернулась, как последняя долбанная баба, вот и все. Но если она и была последней долбанной бабой в этом долбанном мире в тот момент, то определенно самой счастливой.

В машине все еще пелось: «Sunny one so true, I love you», и Вилка, неожиданно для себя, залилась вдруг смехом, который, как ни пыталась — а она не пыталась, даже когда спустя несколько минут в перевернутой машине уже крутила ручку у водительского окна для того, чтобы опустить стекло и понять, что эти мужчины хотят сказать, — не смогла остановить. Она не смогла остановиться, смеясь до слез самым искренним за всю, пожалуй, жизнь смехом. Её смешил перевернутый салон автомобиля, словно отраженный в каком-то идиотском зеркале; пачка Bond'a, из которой высыпались и разломались

почти все сигареты; её злость и решимость, которыми она была полна каких-то пару минут тому назад; пошлость и одновременная нелепость этой картины (малобюджетность, как сказала бы Динара) и, конечно, эти не пойми откуда взявшиеся деловитые мужчины, с озабоченным видом повторявшие: «Подруга, ты в порядке? Как же так вышло-то? Давай, помоги-ка нам, опусти стекло», и тщетно пытающиеся вызволить её из скособоченного автомобиля.

Уже после, часов через пять, машину отправили в ремонт, а сама Вилка лишь проулыбалась какое-то время в травмпункте. Вечером, уставшая, она вернулась домой, к кошке.

Она никому не сказала о том, что на самом деле её не занесло на повороте парковой колеи в тот день, чему поверили врачи. И, слава Тебе, Господи, с того дня больше никогда не заносило.

* * *

Крохотка кладет голову на плечо Лене. Миша, ничего не говоря, до белого цвета в суставах сжимает руль. Одной рукой, сидя рядом, гладишь Крохотку, потому что ей всего девятнадцать, она слаба и, несмотря на свои шестнадцать, ты гораздо выносливей.

Поначалу Лена не могла отделаться от мысли при взгляде на кого-нибудь из девочек, что они пережили то-то и то-то, преодолели или нет в себе какую-то фигню или нечто подобное. Наверное, такое происходит сейчас и с Крохоткой. Когда боишься положить, уставшая, голову на плечо соседки только потому, что нутром чувствуешь подкожную её хрупкость. Ну как же ты, черт бы тебя побрал, все это вынесла и сидишь теперь, такая спокойная, в Мишиной машине и даже смотришь куда-то мечтательно в окно, как бы вдаль? Почему не вопишь на перекрестках, не раздираешь горло воплями и не царапаешь: себя, своим? Кинозвезда мобильного видео Динара, оторвавшись от зафаренного машинами шоссе, взглянула на Лену и еле заметно кивнула.

Заброшенные гаражи, стоянка древней рухляди, которую жалко выкинуть, но лень отвезти на дачу: старые велосипеды, которые жена запретила хранить на балконе, ибо «выкини ты уже наконец эту дрянь!» — почему-то так дорого сердцу, коробки с разломанными радиоприемниками, пузатые холодильники с длинным выбитым металлическим носом — потяни, с хрустом и скрипом откроется. Динара, малыш,

ты в седьмом классе. Господи Боже мой, вязаный мамой джемпер с синим китом на груди и каждое утро плетущийся колосок до плеч, когда все девчонки вокруг с вырезом (тыпомнишь-каксмотрелнатудевочкуфизикскажимне), кнопочная нокиа, хотя у всех уже давно смартфоны, за что на переменах постоянно «лошпедрон, тебе бы в фильмах ужасов сниматься», «тупая курва», «ты одежду с помойки берешь?». Малыш, о малыш! Ты доверилась им, глупышка Динара, маленький черепашеночек, темный колосок с выбившейся прядкой за ухом, вечно мокрый носик и платок со львятами в кармане. Динара действительно поверила, когда одна из девочек (физиксмотрелананеёпомнишькикаксмотрел; «да на тебя ни один чмошник не позарится, корова!» — через пару дней в ответ) предложила пойти покурить с классом за гаражами. Неизменное место тусовок всех школьных, где быть — священная привилегия, куда хотеть — не менее священная обязанность. Ты поверила им, малыш, ты засмеялась вместе с той девочкой, Соней, будто знала чему, тебя ласково взял влажной ладонью за руку тот мальчик, что еще вчера заламывал её на перемене, а другие стояли и смотрели, а еще смеялись, ну так, не слишком явно, потому что не такое это уж важное зрелище, а просто потому, что вроде как их развлекают, неуважительно не.

Лена кивнула Динаре в ответ, закрыла глаза и подумала, что сейчас, вероятней всего, мать уже лежит в кровати и, конечно, не спит. Злость забирает сон, может, съедает или просто запирает в каком-нибудь чулане; злость и возмущение. Серебряный крестик в верхней полке комода запрятан среди нижнего белья и Лениных детских пижамок. Муж справа от покатога плеча, на котором шрам оспинной прививки, духота, ведь нельзя же среди ночи форточку, а то простудишься. Еще высухающий год за годом огромных размеров фикус в самом углу... Выпей кофейку и не задавай глупых вопросов, мам. Замокни, мам, ради всего святого, ради бельевого креста; хоть раз в этой гребанной жизни замолкни, когда тебя просят.

Миша кому-то сигналил, кто-то сигналил в ответ, а потом куча ругательств разъяренного. Крохотка закрывает глаза и прижимается к Лене, Динара недовольно качает головой... Еще пятнадцать минут асфальтовой колеи, и практически въедем в больничные ворота, услышим «одурели, что ли? закрыто, не видите? часы приема с двенадцати...» уличного охранника.

Не смотреть на часы, чтобы не увидеть случайно, что придется заночевать в машине, у обочины подъезда к больнице, не в силах разойтись (и разойти собой священное единение) по домам.

Да, малыш, так и есть: тут никто не вопит. Хоть ты тресни, не вопит и не раздрает. Лена гладит рукой Крохоткино плечо и, устало вздохнув, откидывает голову на спинку сиденья.

Пустили бы, что ли, воздух.

* * *

Снимать видео никто не хотел поначалу, потому что это низко и вообще уже ни в какие ворота... Ну еще потому, что элементарно не додумались сразу. А когда додумались, прелюдию уже пропустили, сумели снять только валяющуюся на земле с перебитыми ребрами Динару. С драной овцы...

Кто бы о том не спрашивал, а спрашивали, вопреки вежеству, очень многие, Динара ничего не говорила, даже в полиции. Даже пухленькому светловолосому психологу, Варваре Данилишне. Даже её глуповатому смазливому стажеру: серые сатиновые брючки, клетчатая рубашечка в обlipку и напрашивающаяся красная бабочка у горла. Но бабочки нет, а потому и нечего рассказывать — ни ему, ни Варе, ни полиции.

— А себе?

Динара уговорила мать, тихую, но гордую женщину, не писать заявление, не перешла в другую школу (только взяла домашнее обучение, мать сумела настоять хотя бы на этом) и вообще, на удивление самой себе, ни на кого не злилась и никого ни в чем не винила. Ей просто было немного обидно, что так вышло и что она — это почему-то она. Но, как говорит всегда Лена, все это для чего-то, наверное, нужно.

Больницы Лена не любила. Верней, не так: она чувствовала себя в них некомфортно, а если еще точнее, не чувствовала себя вообще. Но что ж, блин, поделать. Сейчас почти вся банда едет к пограничнице-Рыбке, и Лена нисколько не противится тому, как бы мерзко внутри не делалось. Ведь когда с кем-то близким случается подобная фигня, тут уж не до твоих пристрастий. Затяни потуже поясок, дружок, нас ждут тяжелые времена. Затяни потуже поясок — и вперед.

Тяжелые времена детства. Да нет, не то чтобы очень.

Травмпункт, когда обиженно, но с бурлящей внутри гордостью, сообщаешь, что тебе почти

десять. Отчитанный для приличия брат, который все равно — на тебя, покалеченную, с ожогом — злится. И тот душный летний день, когда их оставили вдвоем (уже оглошшая на тот момент бабуля, милая госпожа со всегда вычищенным передником на халате (чудаковатая придурь, невинная потребность постаревшего, впавшего в детство мозга) не в счет) в квартире, где рано или поздно началась бы ссора, которая непременно привела бы к такому вот. Ты помнишь это, Лена? Как брат сказал тебе, что ты дура. Как брат, словно маленький, показал тебе язык и разорвал твой только что с таким старанием нарисованный искусанными разноцветными карандашами рисунок. Как ты нахмурилась и пригрозила от отчаяния рассказать все родителям. И как он — в шутку, конечно, он не хотел сделать тебе больно, *конечно, не хотел, глупышка, он же так тебя любит* — схватил оставленный бабушкой, глухой, как пробка, госпожой, и такой же рассеянной к старости, раскаленный утюг с гладильной доски и пошел, крутя его в руке, на тебя. Как ты решила заплакать и от этого стало только хуже. Они любят слезы, почти всегда любят, малыш, но только не в детстве, не тогда, когда в квартире все-таки есть большая сила, большая, чем сопливый двенадцатилетний придурок-брат.

«Трезво оцените, что говорить можно, а что нет, не выливаться наружу миллиардом слезинок, не закричать и не расплескаться, о нет, тыковка, только не закричать и не расплескаться» — да, верно,

но это все потом, спустя много лет, когда выйдешь по сети на банду и познакомишься с остальными девочками. А пока тебе девять — почти десять! — и брат несется на тебя с раскаленным утюгом в руке.

— Ай-ай, как же так вышло-то? — сокрушенно врач в травмпункте.

Крики глухой бестолковой госпожи бабули, отчего-то плач растерянного и жалкого брата, твое собственное — признайся — непонимание. И визг:

— Рука горит, ба, мне больно!

Лена, ты помнишь?

* * *

Что ты вообще помнишь о детстве, тыковка?

Вилке было восемь, когда мама впервые заплакала после того, как отец не вернулся домой с работы и уже все восемнадцать, когда милый

папулик наконец-то разбил ей сердце. Вилка никогда не спрашивала себя, почему она всегда закрывала глаза на его выкидыши, все те разы, когда мама, запершись на кухне, звонила ночью Тетьсвете, единственной подруге, которая все еще поддерживала с ней череду редких перезвонов. Глупая, никому не нужная мамулик, как мне за тебя стыдно, мама-неудачница, мамадерьмо-женщина, которую не спасает даже внешность. Ворох истерик и вагонеточная цепь слез впридачу, сколько лет она опутывала этим папулика и Вилку, не говоря об окружающих. Мамулик безвылазно сидела дома: сначала потому, что надо обустроить совместную с папуликом жизнь, затем потому, что беременность лучше переносить в покое, то есть целыми днями сидя в их *вего,его,этоквартирапапулика,незабыла?* трехкомнатной квартире (пять минут от метро, через дорогу парк, рядом детский садик и крупный торговый центр, ах! Крошка с лоджией и современным лифтом ваша за пятьдесят тысяч в месяц, если вы, конечно, со стабильным заработком и обязательно славянской внешности/*ведь национальность, все-таки, немало другое, верно?), затем потому, что нужно воспитывать ребенка *мамазамолчитывечнонудишьчтозаправильныевещигосподимойбоже*, а потом снова воспитывать *непозорьяпюжалуйста!нувечноты*, воспитывать, уже когда дочь твоя сама может тебя научить гораздо большему, чем способна дать ей ты. Совсем скоро, когда Вилке едва исполнилось года два, мама начала бояться выходить из дома куда-либо вообще. Потрясающее образование финансиста, французский и итальянский в придачу к разговорному английскому превратились в единственное: расчет денег на продукты и стиральный порошок (хотя скоро и этим стала заниматься нанятая папуликом женщина) и магнит на микроволновке «I Love Paris». Амор амор, глупец Амур, твои одежды слишком часто примеряет неуместное Самопожертвование (и только один корень — жертва), припудриваясь для большей схожести боязнь одиночества и старыми страшилками, вроде «да как я одна с ребенком».

Тыковка, признайся, ты все равно не жалела маму, не понимала и не верила той боли, что вызывал капкан, в котором мама твоя увязла. Признайся, тыковка, ты смеялась над ней. Глупый мамулик, истеричный мамулик, за что она вечно так пилит папу? У него работа, у него бизнес, он все для семьи, а дома нудит нетоварного вида жена, всегда всем недовольна и постоянно плачет. Уж мы молчим о бессоннице и подтянув-

шейся затем любви к стеклянным бутылкам с длинным горлышком (пакость, вранье! ей просто нравился их глубокий звон *нуконееееечно*). Признайся хоть сейчас, мать твою, хоть на одну какую-нибудь секунду, тыковка, что ты не всегда была права.

Папа бросит вас совсем скоро, но до тех пор ты будешь верна ему всем сердечком, даже больше того; ты будешь верна ему и после, пока наконец не выйдешь на банду и в тебе — хвала всему, чему только можно воздать хвалу в этом мире и в тысячи иных, какие только может придумать человек — не проснется сперва стыд, а затем и ярость.

И все же она примет от него сначала квартиру подарок родителей на восемнадцатилетие, его подарок, здесь просто нельзя не принять, это невежливо, потом — обвинение в «сговоре с этой ненормальной», то есть с вечно больной и выпившей мамой, в тот день, когда она впервые решила за неё заступиться в какой-то пустяковой, совершенно искусственной ссоре, какая обычно вспыхивает между вечно придирающимися друг к другу озлобленными, усталыми и тщательными людьми. Какие обычно происходили в их семье на протяжении почти десяти лет (последние два года особенно явно).

Мама и правда тогда не была виновата, да, тыковка? И все же ты злилась на неё, злилась, несмотря на то, что прекрасно понимала, как мама страдает. Хвала всему, чему может быть воздана хвала, ведь ты наконец признала за ней хотя бы страдание!

Папулик тяжело вздохнул в тот самый день (когда разбилось сердечко его тыковки, маленькой надоедливой крошки) словно человек, который нисколько не сомневался в идиотизме окружающих, но давал им по благородству души своей последнюю попытку переубедить его, доказать обратное, но никто, как обычно, этим не воспользовался; наоборот — с лихвой подтвердили поставленный заранее диагноз «хронические придурки», а еще, что болезнь прогрессирует, ведь и дочь — мы с вами все это видим, господи — туда же. Он давал последний шанс, черт, он правда старался дать последний шанс потрясающе ненормальной жене не «впасть в истерику», но проклятая выпивоха как всегда все испортила.

Мама попросила его в тот день о каком-то пустяке, вроде свозить её в супермаркет на той неделе, потому что одной страшно (нанятая папой женщина ушла вместе с папой), а таксистам, этим незнакомцам, она не доверяет (мами-

ны фобии продолжали расти с тех самых пор, как Вилке исполнилось злополучных два года). Но отец рассмеялся как человек, которому до ужаса надоели эти поганые выкрутасы, да, именно так. Словно мама придуривалась, хотела заманить его обратно в семью, в эту темницу из своих вдовьих спазмов, но он не такой уж дурак, черт, будьте уверены, чтобы просто так купиться на это. Он начал смеяться, но глаза его были невеселые; напротив, в них бурлила смесь превосходства и ехидности и еще совсем немного ненависти, но это и понятно, такая женщина столько лет болталась балластом на его ногах *у твоих ног я, посмотри, я у ног твоих, сжалься! мама зачем ты говоришь все это господи ну не позорься не позорься хотя бы сейчас*. Папа начал с саркастических замечаний, псевдоудивления, будто не понимает, как бывшая жена может просить бывшего мужа, по факту, практически незнакомого ей теперь (и с самого начала) человека о том, чтобы её свозили в супермаркет. Магазин за углом, дорогая (с нажимом на дорогая). Но там нет тех продуктов, что мы обычно покупаем. Покупаем? Мы? Мы с тобой ничего не покупаем, а вот вы с Виолой вполне может быть. Ну почему ты такой? Неужели тебе так трудно свозить меня? Ты же знаешь, как я боюсь, что мне страшно, что я... Ну хватит, черт, что за семейка! Неужели нельзя хотя бы сегодня обойтись без скандалов? Ты ненормальная! Господи, как же я от этого всего устал... Милая моя, если у человека проблемы с головой, он идет к врачу, знаешь, такие люди в белых халатах.

Это был серьезный удар, последний удар этой короткой схватки, и мама тут же сдалась. Мама заплакала.

Её лицо кривилось от натужного спокойствия с первых минут, как он вошел в квартиру, любезно оставленную ей при разводе, но теперь её прорвало: нос надулся и покраснел так, словно она ревела несколько часов подряд, подбородок зашелся какими-то ужасающими судорогами, а голос разлился в хриплый крик.

КАК ТЫ МОЖЕШЬ ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДИ ИИСУСЕ КАК ТЫ СМЕЕШЬ ЗАЧЕМ ТЫ ВООБЩЕ СЮДА ПРИШЕЛ я зачем сюда пришел? Сегодня день рождение Виолы, знаешь ли! Зачем я сюда пришел! Или ты свихнулась настолько, что уже и этого не замечаешь? Тыковка, — обратился он к Вилке, — скажи, мама что, уже и о твоём дне рождении забыла?

Мамулик тут же завyla, стала трясти головой и размахивать руками, пытаясь то наки-

нуться на отца, то прижаться к стене; она то подходила к кухонному столу, у которого они стояли, то отходила обратно, хватаясь за все подряд. Глупый, сумасшедший мамулик.

— Убирайся отсюда, — произнесла ничего не соображающая от стыда и ярости Вилка, глядя папулику в глаза.

Ты сказала это, тыковка! Черт, как же потрясающе круто ты это сказала!

Отец удивленно посмотрел на несмышленную балласт-правой-ноги дочь, свою вечно глуповатую, но тихую тыковку, которая предпочитала не вдаваться в подробности их с матерью ссор. Он пригрел у сердца ядовитую гадюку, вот что он сделал. Будьте уверены, черт, будьте все уверены, что пригрел! Вот как доченька поблагодарила отца за квартиру, о-хо, вот так номер!

Однако, папулик не знал, что, если бы он остался, продолжил бы разговор уже с Вилкой, то все вернулось бы на свои места, ведь она не собиралась сопротивляться ему; она боялась, до жути как боялась его разочарования. Как-то так незаметно вышло, что, видя нелюбовь отца к своей маме и какую-никакую любовь к ней, она четко усвоила, что благосклонность папулика вообще — самое ценное, что может быть в этом мире, и что её так же легко потерять, как, скажем, съесть весь ментос за полчаса. Не разочаровать папулика — вот что стало основным ориентиром Вилкиной жизни, а самый верный способ любовь его утратить — начать перечить ему, не соглашаться с тем, что он делает или говорит. Поэтому тогда, в день своего рождения, в день, когда разбилось её сердечко (ты не поняла этого сначала, тыковка, ты ничего еще не понимала), она очень испугалась. Очень — мягко сказано. Она была до ужаса напугана тем, что вырвалось у неё изнутри, это грозное «убирайся отсюда» — жесткое, холодное, могильно-синего цвета. Так что, если бы папулик заорал, стал причитывать все те причитания, что пронесли у него в голове, весь тот рой упреков, который заранее готовится у трусливых людей про запас для каждого окружающего его человека, Вилка заплакала бы и стала умолять простить её. Но папулик не стал ничего говорить. Быть может, потому, что испугался и сам. Он немного замялся на кухне, будто пристыженная собака, когда хозяин ругается на неё не пойми за что, а потом просто молча прошел в коридор, оделся и вышел. Даже дверью не хлопнул.

В тот самый день, в день Вилкиной восемнадцатилетия, и разбилось её сердечко. Сердечко,

полное любви к отцовской благосклонности и презрения к нелепому мамулику, которая вечно сидит дома и потихонечку все явственней сходит с ума. Шарик за ролик, как говорили у неё в школе.

Потерянная, напуганная Вилка в тот самый момент, когда — дрям!бряк!дзинь! О кафель кухни краснощекое сердечко — не представляла, что же ей теперь со всем этим делать; она тихо села за стол, а мамулик в то время все продолжала выть у стены.

* * *

Они катили по шоссе молча, потому что, наконец, понимали: поражение Рыбки — поражение для них всех. Никто не думал включить музыку, или начать какой-нибудь мало-мальски отвлеченный разговор (или вовлеченный, ладно; но даже этого никто не хотел). Все просто ждали, когда наконец Миша довезет их до больницы, кто откинувшись на сиденье, кто закрыв глаза.

Лене было трудно глотать, казалось, стенки глотки склеились друг с другом, словно ладошки белым вонючим клеем, бесплатным приложением к братниной модели паруса в седьмом классе. Когда же Лена наконец глотала, казалось, это происходило до неприличия громко, слишком громко для всеобщего молчания; громко и больно.

Рыбка учила, что никогда нельзя винить себя во всем подряд, что наше влияние распространяется не на такое уж большое количество событий, как мы привыкли думать. И что если госпожа бабуля умерла от сердечного приступа — вовсе не из-за того, что ты разругалась с матерью за три дня до этого и все-таки пошла на ту вписку, а потом пропала на некоторое время совсем.

Ты намеренно говоришь человеку одно, а делаешь другое, вот это было действительно плохо. Еще хуже в понимании Рыбки — поступать так с самим собой, когда это касается действительно важной вещи.

— Понимаешь, дело ведь в том, насколько мы дальновидны, — говорит Рыбка. — Если ты ляпнул что-то человеку, от чего он потом, ну, допустим, убил себя, если ты сказал ему что-то такое, но не намеренно, ведь ты действительно представить не мог, что его это заденет, это ведь был просто разговор... тогда ты не виноват, и глупо винить себя всю жизнь после этого. В конце концов, чуткие люди воспринимают го-

раздо больше вещей, нежели слова; такой парень вполне мог бы выброситься из окна только потому, что увидел какое-то необычное растение, например, а дальше мысль поползла вперед, вперед, и скатилась в одну и ту же огромную жуткую яму, куда скатывались все размышления и до этого — в Яму Проблемы. И вот эта-то Яма, вернее, её пары, и отравляют человека. Знаешь, как вредные соли накапливаются внутри организма всю жизнь? Так же и тут: надумав о Проблеме слишком много, человек практически сходит с ума. И тогда, наверное, единственный приемлемый для него выход — в один миг все прекратить. Логика проста: нет глаз, которые смотрели бы на Яму, нет и самой Ямы.

Лена снова громко, неуважительно громко глотнула; безумно хотелось пить. От внезапно накатившего волнения ладони её вспотели, стали холодными как ледышки и такими же влажными. Словно кто-то решил принять ледяную ванную под кожей рук и забыл выключить кран, и вот теперь затопило соседей.

Лена не понимала, чувствовала ли она себя виноватой в том, что случилось с Рыбкой, и виноват ли в этом кто-нибудь вообще. Скорее, она ощущала слабость в животе, слабость *до тошноты* (*меня тошнит душой, меня выворачивает, не могу, не могу, Динааар*), слабость ответственности, которой пренебрегла, о которой забыла, про которую и не хотела вспоминать. Мы приручили друг друга, верно, теперь мы просто не можем не отвечать один за всех и все за.

Наверное, она просто надышалась ядовитых паров от Ямы, подумала Лена. Я не могла её засыпать, никто не мог, даже Олег. Она надышалась, впала в безумие и решила, что «единственный приемлемый выход — в один миг все прекратить».

— Мы тянемся перетащить на себя ответственность за чужую жизнь в большинстве случаев только тогда, когда реально происходит какая-то хрень, случается что-то плохое, — продолжает Рыбка. — За счастливого паренька на той стороне дороги тебе и в голову не придет отвечать, потому что у него все круто. Ты же не думаешь: «Ну да, у него все шикарно потому, что я ему сказала вчера то-то и то-то». Зато когда тот же мальчишка заорет, что хочет умереть, ты волей-неволей почувствуешь что-то нехорошее внутри, почувствуешь землю со дна его Ямы на руках у себя.

— Ты знаешь, почему так происходит? — спросила Лена в тот день.

— Ты знаешь, почему так происходит? — спрашивает Лена, сидя на заднем сиденьи «папиной машины».

Рыбка пожимает плечами и словно улыбается своими тонкими бледными губами.

— Быть может, мы просто привыкли к мысли, что от небес — одно лишь счастье, а все зло исходит от нас самих. И никак не можем убедить себя, что все связано и что все и всегда исходит только оттуда. Поэтому мы считаем... ну, как бы это сказать... мы считаем, что наша воля не может заходить дальше чужих несчастий; несчастья людям, от Бога — покой.

Лена задумалась и ничего не отвечала.

* * *

Назвать гаражи гаражами было бы не совсем правильно, потому что одними раздолбанными металлическими ракушками с облупившейся светло-лимонной или салатовой краской дело не ограничивалось. Гаражи начинались стенкой в одном из тихих, малолюдных дворов, через несколько улиц от школы. Сначала нужно было перейти шоссе с четырьмя полосами: две в одну сторону, две в другую. Затем шагать минут десять вдоль полинялых кирпичных домов, окна первых этажей которых скрывались за проржавелыми решетками и колючками сухих полумертвых кустарников. В одном из подобных домов будет жить Катишь, но это Динара узнает гораздо позже, когда наконец выйдет (*если бы я их не встретила, точно повесилась бы*) на банду. Пока же они шли по влажному асфальту осеннего тротуара вдоль рыжих домов почти половиной класса, самой отвязной и крутой половиной класса, которую Динара и побаивалась, и по которой в то же время томилась.

Несмотря на октябрьскую холодрыгу, половина мальчишек шла вообще без курток (зато с натянутыми на голову темно-синими или черными шапочками; им всерьез казалось, что это придавало им сходства со старшими пацанами), несколько визгливых девчонок, в том числе и самая привлекательная из всего класса, та самая, Соня физик-посмотри-на-мой-вырез, не застегивали пальто, суетились, громко хохотали, визжали, когда кто-то из мальчишек пытался схватить их или поднять на руки.

Когда они только перешли дорогу и направились к тем кирпичным домам, чтобы потом нырнуть в один из дворов и пролезть в узкую лазейку между гаражами, Динара вспомнила, что мама всегда очень расстраивалась, если узнавала,

что дочь ходит по такой погоде «полураздетая», а потому, немного подумав, надела свою розовую пуховую шапку с белым помпоном на веревочке, напоминавший гладкий, ослепительно-белый, уменьшенный в размерах канатик. Девчонки тут же взорвались смехом, глядя на Динару, стали раззадоривать мальчишек, которым, по большому счету, было все равно, надела эта полоумная шапку или только что сломала ногу; однако из вежливости и уважения к подругам они отозвались и тоже подражали немного Динару, кто-то даже толкнул её, конечно, не имея в виду ничего серьезного, просто шутка. Девочки остались довольны, но вид у них был разочарованных притворщиц: дав Динаре шанс наладить с ними контакт, они подозревали, что она не воспользуется им и выставит себя на посмешище. Зачем-то натянет на себя эту идиотскую шапку, которую конечно же выбирала для неё мамочка, потом начнет постоянно оборачиваться на здание школы, будто её уводили какие-то злые люди на съедение волкам, а затем вообще перестанет отвечать на простые вопросы и реагировать на пошлые шутки, после — просто замолчит. В общем, вела себя в тот день Динара, эта полоумная бомжиха, полностью оправдывая грустные (хитрая притворщица) предположения длинноволосой Сони, самой красивой девочки, которую Динара только видела в жизни.

Если честно, Динара так и не сумела понять, что же она чувствовала к своим одноклассникам, особенно к Соне. Странная смесь ощущений, будто сначала кто-то отрезал кошке хвост на твоих глазах, а потом включил для тебя твой любимый фильм с Хилари Дафф в главной роли и дал шоколадный пломбир. Динара понимала, что в какой-то степени она смогла бы отдать все, чтобы понравиться этим ребятам, сделать так, чтобы они приняли её в свой круг. Она знала, что мама Сони заказывает вместе с ней косметику по каталогу, разрешает дочери самой выбирать все, что захочется. Она знала, что у Сони есть освежающий крем для ног с перечной мятой и прополисом. Что она чистит зубы сплатом, а не каким-нибудь галимым колгейтом. Что у неё есть специальное масло для кутикулы, вроде бы это что-то, связанное с ногтями, но Динара не знала наверняка. Все эти факты из запретной (*богатой*) жизни будоражили Динару даже больше, чем красивая одежда, в которой разгуливала по школе Соня, чем та блузка эй-физик-посмотри-на-меня. Одежда — чушь, но то педантичное усердие, с которым Соня уха-

живала за собой, исправляя любое несовершенство, поражало Динару. Поражало в самом сердце маленькую семиклассницу с неряшливым колоском на спине, в дурацком свитере с вышитой ромашкой на спине или с подмигивающим синим китом на груди, из головы которого бьет струя морской воды. Поражало девочку, которая, делая уроки под обзывания старшего брата и его друзей, представляла себе, что она — Соня и могла играть в это до бесконечности, точнее, до того, как пришла в банду. Даже лежа в больнице с переломанными ребрами, слушая всхлипы матери и её причитания, Динара не переставала время от времени воображать себя Соней, и тогда её даже немного знобило от возбуждения, от какого-то тайного необъяснимого восторга. Ей было радостно, что она хранит этот секрет обожания внутри себя, хранит так прочно, что даже чуткая слезливая мама не может разглядеть в своей дочери подмену, какую-то другую девочку — длинноволосую, от ступней которой пахнет прополисом и перечной мятой.

И в то же время Динара чувствовала страх. Даже не так: она знала его. Она понимала раскуском, что эти ребята плохие, и Соня в том числе. Что от них исходит опасность, что они обижают её, ковыряют, вспарывают — каждый божий день раскурочивают её слабенькое тело, её такую немощную, напуганную душу. Что на переменах ей проще всего втянуть голову, словно крошечному черепашонку, не выходить из класса, оставаясь под спасительным надзором преподавателя (*мальш, но ты же знаешь, что физик не будет на твоей стороне, правильно? О, никогда не будет. И этого уже достаточно, чтобы и остальные тоже... нет, пожалуйста, замолчи, замолчи, прошу тебя*). Динара боялась и любила одновременно, и эта неосознанная смесь неосознанно же пугала её. Именно этого она боялась в тот день, когда ребята позвали её с собой за гаражи. Не того, что они могут навредить ей. Не того, что, возможно, её примут. А того, что она не понимала до конца, как сама к этому относится и чего же действительно хочет.

— Динар, а сколько раз в день ты моешься? — кокетливо обращается к ней Соня.

— Моется! — тут же загоготали парни, поражаясь тому, какую нелепую глупость спросила длинноволосая девочка. Это страшилище, да моется? Не смешите мои коленки.

Другая девчонка, лучшая подружка Сони, улыбаясь, жестом приказала всем замолчать или хотя бы попытаться хохотать потише; она чувствовала, что Соня спрашивает об этом не

просто так и это — далеко не конец всей шутки. Нельзя допустить, чтобы тупая бомжиха поняла раньше времени, что над ней смеются. Хотя с её-то мозгами...

— Ну сколько? — не унималась Соня, поглядывая время от времени с хитрой улыбкой на подругу. — Это же не такой большой секрет, а? Или ты не принимаешь душ вообще?

Мальчишки едва сдержались, чтобы не съязвить что-нибудь по этому поводу, и их снова остановила худенькая рука Сониной подруги.

Они свернули в темный промозглый двор, будто подцепивший насморк, с кучей холодных и липких кленовых листьев на дороге, больше напоминавших одноразовые платочки для больных гриппом. Двадцать пять-тридцать метров, и они нырнут в гаражи. Тридцать метров — это максимум — и Динаре уже не убежать. Тридцать метров, и разговор из шутливо-издевательского перейдет в угрожающе-агрессивный. Динара не может всего этого знать заранее, внутри у неё — смесь страха и обожания, та роковая смесь, которая — она всегда это инстинктивно чувствовала — рано или поздно подведет её, подставит, выставит на посмешище. Именно поэтому Динара никого не винила в том, что произошло. Она была абсолютно уверена, что, если б не эта ядовитая Смесь внутри, земля её Ямы, ничего подобного не случилось бы. Она была отравлена, она изначально была нездорова, а потому то, что она притянула к себе кучу мобильных камер и сломанные ребра в придачу, было всего лишь закономерностью. Всего лишь долбанной, мать её, закономерностью. *(Наверное, это тоже было не просто так, ведь у всего есть свой смысл. Безусловно, думает Лена и на всякий случай кивает головой. По-другому и быть не может.)*

— Два раза, — тихо произносит Динара, пролезая в щель между ракушками вслед за одним из парней.

— Чего? — спросила с непонимающей улыбкой Соня, когда они очутились внутри небольшого лабиринта полуразваленных гаражей и тут же обратилась к ребятам. — Она ответила что-то?

— Два раза, — повторила чуть громче Динара.

— Ты принимаешь душ два раза в день? — притворно удивилась Соня и с притворным же уважением стала кивать головой. — Да ты, по ходу, следишь за собой, да, Динар?

Все засмеялись, кроме Динары. Она слабо улыбнулась, делая вид, что поняла шутку, что ей тоже, вроде бы, смешно, что она рада, что

сумела повеселить ребят, они ведь друзья, и это нормально. Все в порядке, дружок, главное, сожмись как можно сильнее и не смотри на них, чтобы не понять случайно, что они никогда не собирались дружить с тобой, что это все — долбанная закономерность, в которую ты, увы, по воле кого-то свыше втянута. Динара стояла и улыбалась, стараясь не поднимать головы и ни на кого не смотреть. Нелепая черепаха Динара, глупая, грязная бомжиха с вечно работающей матерью, с матерью-убрицей-офисов, матерью-кто-нибудь-остановите-эти-слезы, с матерью, которая никогда не держала в руках ни одного каталога косметики.

— Чего молчишь? — по-прежнему улыбается Соня. — Ты следишь за собой, как выяснилось, да, Динар?

— Наверное, — неуверенно отвечает глупая сжавшаяся черепаха, просто потому, что не ответить нельзя. Сердце начало глухо стучать в ушах, так, будто ты под водой и еле различаешь звуки на поверхности. Ух — к-дух — к-дух — к-дух. Во рту почему-то появился привкус шоколадного пломбира, который Динара не ела уже как с июля.

— Понятно... — протянула Соня, самодовольно глядя на розовую шапочку с белым помпоном (веревочка, словно крохотный белоснежный канат).

Все ждали. Кто-то досмеивал окончания смехового залпа, кто-то перешептывался гадостями и широко рото улыбался. Почти все, воспользовавшись небольшим перерывом, закурили, в том числе и Сониная подруга. Некоторые парни, заранее зная о том, чем все закончится, напряженно поглядывали то на Соню, то на Динару, словно в ожидании какого-то тихого разрешения.

— А ноги ты брешь? — вдруг, словно очнувшись, спрашивает Соня.

Динара удивленно вздрогнула. К-дух — к-дух — к-дух — уух. Она никогда не скажет об этом ни в полиции, ни психологу, ни — уж тем более — маме, хотя врач из больницы после осмотра все расскажет, но это не будет иметь никакого значения. Никто, кроме Рыбки, не узнает об этом разговоре, о том, что они спрашивали у неё перед тем, как снять свой любительский фильм; не узнают, о чем говорила с ней Соня, прекрасная Соня, уродливая длинноволосая любимица лысого физика.

— Отвечай, ну? Что затихла? — начала раздражаться Соня, хотя в голосе по-прежнему чувствовалась усыпляющая ядовитая патока. —

Это же такой простой вопрос. В нем нет ничего такого, правда? — она обернулась на подругу, которая в этот момент висла на плече одного из мальчишек, тех самых, что уже приготовились к съемкам.

— Нормальный вопрос, обычный, — подтвердила подруга с серьезным выражением на лице. — Нам просто интересно, Динар. Чего ты так шугаешься?

— Может, она их депилятором удаляет? — задумалась Соня. — Ты их депилятором, да?

Динара едва заметно покачала головой.

— Нет? — обрадовалась Соня. — Восковые полоски?

Снова покачала головой.

— А что тогда ты с ними делаешь, с волосами? Бреешь?

Соня внимательно смотрела на сжавшуюся, немного дрожащую фигуру Динары, глупой бомжихи, нелепой черепахи. Господи, ну почему же она такая? Почему не может расслабиться и нормально отвечать на вопросы, когда её спрашивают? Её зовут веселиться, приглашают к себе, а она зажимается, словно какая-то придурочная. Видит Бог, они хотели как лучше. Они хотели расшевелить её, да, пригласить пошутить вместе, а она стоит, как истукан, и только портит всем настроение.

Динара снова покачала головой.

— У тебя что, волосатые ноги? — удивленно засмеялась Соня.

Все мальчишки загоготали вместе с ней. Ну, блин, приплыли. Они, конечно, подозревали, что с головой у этой придурочной все плохо, но не настолько же. Могла уж хотя бы соврать, нет, до этого даже не додумалась.

— Тогда, наверное, ты и там совсем заросла?

Раздался новый залп смеха, теперь веселилась уже и Сониная подруга.

Если бы у Динары была астма, сейчас ей немедленно понадобилось бы использовать свой ингалятор. Но Динара ничем таким не болела, у неё не сводило по ночам ноги, она не кашляла каждую осень и весну, валяясь дома с температурой, у неё не было даже подростковых прыщей, которые уже начали атаковать почти весь их класс. Нет, она была абсолютно здорова. Здоровая маленькая семиклассница, которая по непонятной причине была слабоватой, от нечего делать хилой и худой.

— А хочешь, мы сами тебя побреем? — в каком-то странном визгливом возбуждении спросила Соня. Потом она долго будет думать над тем, зачем стала задавать эти идиотские вопро-

сы, зачем вообще потащила туда эту несчастную дурочку. Конечно, она напросилась сама, но было что-то в этом во всем такое... что-то не совсем правильное. Что-то, чего Соня никак не могла понять, вернее, понимала всегда, но предпочла от этого понимания отгородиться, отгородиться очередной баночкой с маслом для кутикулы.

Динара испуганно подняла голову и впервые поглядела прямо на застывшую в веселье Соню.

Наверное, это и было тем самым молчаливым разрешением, думала потом Динара, лежа в больнице. Наверное, это и стало началом съемки.

* * *

Если бы мать Крохотки спросили, что ей понравилось бы больше: сбежать в нищую Италию из еще более нищей Украины на маломальские заработки или заботиться о дочери, она не нашлась бы, что ответить. Потому что два этих варианта казались ей равнозначными.

Из разваливающегося одноэтажного деревянного домика Рыжановки она отправила еще девятиклассницу Крохотку к едва знакомым родственникам в Москве, которые, по какой-то странной причине, оказались людьми вполне сносными и даже добродушными — и согласились приютить девочку у себя.

— Мама работает, что тут скажешь, — пожирует худыми плечами новоприбывшая в банду уже девятнадцатилетняя Крохотка. — А отец спился, — добавляет в ответ на вопросительные взгляды чуть позже.

Крохотка любила Вилкину субару. Она вообще их любила, сама не зная почему. Из-за шести синих звездочек, быть может, таких красивых и гладких на таком же красивом и гладком синем овале.

Когда Крохотка шла по улице, она иногда замечала пару-тройку таких машин, осененных звездами, у обочины или на дорогах. Хотя, по правде сказать, субару были редкостью, в основном встречались роскошные kia или напыщенные bmw. Простых и понятных машин у нас почему-то не любили.

Иногда Крохотка заглядывала людям в глаза; это был неотъемлемый ритуал её жизни циклически в неделю. Раз в семь дней — обязательно на кого-нибудь посмотреть, в упор, поймав, перехватив, дождавшись. Эти забавные уставшие женщины с пакетами (если после работы), со съеденными за день губами и плохо застегнутыми воротами пальто; или мужчины во флисовых брючках и занятым взглядом ску-

чающего по жизни, но тщательно скрывающего это человека. Иногда, встретившись, зацеплялись, и даже, бывало, поворачивали и тогда, за чем-то — следом.

— Не хотите ли...

Приходилось улыбкой — нет, девушка не хочет — почему-то извиняться.

Крохотка боялась, очень боялась оторваться от земли. Ей казалось, что, если много жить, обязательно улетишь. Поэтому она часто спала, а оставшееся время забивала рутинной. Но цветаевщину внутри не перекрыть, и потому ей часто становилось плохо, особенно в метро. Она и не думала глядеть на людей; они сами, казалось, призывали рассматривать их, соучаствовать им своей красотой, странностью, своим обаянием будто бы детей. И Крохотка глядела и видела, несмотря на тщательно заspanные глаза и выключенный с ночи слух.

— Никакой ведь души не хватит! Никакой души! Динар, я не могу, я разорвусь, так не бывает!

Задыхаясь прекрасным; разрываясь изнутри вселюбовью, вернее, вселюбови невозможностью, недостижимостью. Ибо вечером Рыбка, прибежав на зов и поставив очередной диск stray cats:

— Любить всех может только Вселенная... Ну или Бог, хотя это одно и то же по сути. А люди — нет. Они только пытаются, но не могут. Такая уж у них, наверное, природа.

— Я думаю, — отвечает Крохотка, всхлипывая, — что они бы разорвались, их на части бы так... как в фильмах во всяких, знаешь?

— Не выдержали бы всей этой любви, верно? — обнимает Рыбка, словно с маленькой, со своей бусинкой-малышом.

— Неа, в том-то и дело.

Один раз, насмотревшись вот так до одури людей, Крохотка решила перестать любить вообще, но из этого, понятное дело, не вышло ничего хорошего. Она просто начала засыхать. Она слышала много раз, что от себя не убежишь, что любить — хорошо, все люди на том и построены, но страх улечь, оторваться от мира и разорваться от перепада давления был сильнее, а потому она заснула себя на постоянно, как ей казалось, чтобы было легче, лучше — но совсем скоро ей стало еще хуже.

В метро она опускала глаза вниз, глядела на ботинки — свои или чьи-то — и пересчитывала в голове звезды субару, проводя линию за линией, черту за чертой от одной — на мысленном синем овале — к другой.

Хлебосольным российским родственникам — теть Тане и её молодому мужу Валерию

было некогда; они из тех, кто сами едва сумели зацепиться в Москве, а потому вечно думали о чем-то существенном, вроде подмазывания начальника особым восьмимартовским подарком или о лазейке через коллегу к Баренцеву морю, откуда подпольно передавали жбаны красной икры, разумеется, дешевле и настоящей, чем «во всяких магазинах».

Каждую неделю теть Таня выдавала Крохотке по двести пятьдесят рублей, чтобы той стало веселее. Когда она наконец заметила, что Крохотка почти ничего не ест и выглядит какой-то больной, дала ей еще двести — и сочувственно взяла за руку.

Крохотка не знала, куда девать эти деньги, а потому часто скармливала их все цыганкам, которые, словно обмотанные разноцветными тряпками птички, хохлились на тротуаре вдоль дороги к их районному гипермаркету. Они часто менялись, иногда таскали с собой детей — таких же грязных, словно нефтью обмазанных, как и сами. Они были единственными, кому Крохотка боялась смотреть в глаза. Сглазят — не страшно; пугала чужеродность, неприкосновенность, враждебная обособленность и то странное презрение, что исходило из их лениво протянутых рук. Цыганята смеялись над Крохоткой и её потеряннм видом, над тем, что она много шатается без дела. Пару раз, когда была их смена, они даже пытались бросить в неё, отдавшую денег их старшим товаркам и уже уходящую, пустую баночку из-под майонеза, негодную для мелочи, а потому сбавленную им в игрушки — и попали. Крохотка не обернулась, хотя все поняла, услышала восторженный всплеск детского осипшего смеха, строгие для видимости одергивания взрослых, но после — такой же неприветливый и нескрываемый смех и женщин, которым только что она отдала четыреста пятьдесят рублей.

В те дни, в дни Крохоткиного затишья, Лена часто гуляла с ней вместе: они придумали распечатать разные стикеры с надписями вроде «все наладится» или «ты замечательный» и расклеить по городу. Хоть они и сбросились всей бандой, но в итоге вышло всего около пятидесяти наклеек.

— Ты часто в них смотришься? — спрашивает Крохотка.

— Еще раз, не поняла, — смутилась Лена.

Они только что обогнули цыганят и теперь шли, ощущая спинами оставшуюся позади мальчишескую вздорность и веселье.

— Нууу я имею в виду в людей. Вот там мужчина идет, например, видишь? — продолжает Крохотка, почти тыча пальцем в приближающегося к ним воротничка. — Ты можешь посмотреть прямо ему в глаза, уловить что-то, а потом над этим подумать. Это лучше, чем просто идти и глядеть на дорогу, — пожала плечами, — дорога скучная.

Лена боялась смотреть на людей в упор, потому что она всегда отводила взгляд. Ей было страшно, что кто-то не отведет его первым, и это испытание глазами, тлетворное, медовой паточкой умасленное, будет продолжаться вечно. Иногда ей хотелось уничтожения, и она буквально через тошноту смотрела на кого-нибудь долго-долго, пока человек не смущался наконец и не уходил вообще; но и тогда она чувствовала беспомощность, тогда она себя ненавидела, жаждала искупления, но молчала, ведь — стыдно.

Ты можешь посмотреть прямо ему в глаза, уловить что-то, а потом над этим подумать.

Да, могу,

но она боится, что окажется сильнее, что потопит, убьет, изнасилует напротивсидящего, что ей захочется натянуть на себя габали и смиренно прижать колени одна к другой — плотно-плотно, чтобы оттуда, из укутанной сотней запретов и правил, отороченных лимонной блузкой, вырвалось и поразило — непременно поразило, сразило, свалило, у-нич-то-жи-ло — её плотьядие.

Лена спросила у мамы, схватившись неосознанно за любимый и болезненный ожоговый след, можно ли ей записаться на танцы.

— Какие еще танцы? — тут же фыркнула мать с огромными белыми локтями, ковыряясь и плюясь возле нижнего бельевого ящика. Она сортировала носки после стирки, раздраженно комкая их и чему-то сердясь.

— Чеченские народные.

Лена знала, что рано или поздно угадает в ком-нибудь своего мучителя, насильника, двенадцатилетнего брата с блестящими злыми глазами сладострастия, искусного партнера по танцам; Лена чувствовала, как ноги все чаще и чаще путаются в длинных юбках и что — это самое главное — ей нравится собственная сладостная в них неловкость, беззащитие. Посмотрите на меня, ведь я совсем из другого мира, но я тоже — ваша, и во мне то же, что и в вас!

Звериный нрав, глубокие воды тихого озера. Лене нравилось стоять голой перед зеркалом в

ванной, набирая мощной струей кипятка воду, доставать время от времени из тайника — случайно выбитой, но крепко державшейся в стене нежно-голубой плитке (так, что об этом секрете никто не догадывался вот уже несколько лет), — найденное бог знает где лезвие, тщательно отмытое и регулярно протиравшееся спиртом. Лене нравилось иногда торопливо бросить на ходу «я в ванную», запереться на щеколду, аккуратно, будто боясь повредить себя, снять одежду, после чего — осторожно достать лезвие и провести легонько по полноводным — в маму — белым плечам, умиротворенно и яростно одновременно улыбаясь себе в зеркало.

— Что ты делаешь после школы? А?

Надавить чуть сильнее — и, сморщившись (щекотно!), провести еще раз.

Кровь с молоком, ожоговый центр, самый лучший в мире танец: она, опустив в нерешительности взгляд, и он — вокруг неё так молодчески с саблей.

Попроси меня посмотреть внутрь, попроси поднять глаза. Раскорячившийся мужчина напротив в маршрутке со свежей слюной в уголках губ и сальными волосами, свеженькие цыганята дымчатой кожи с дикими злорадными лицами и такими же дикими, презрительно-насмешливыми глазами, многожды любимый брат, многожды ненавидимый отчим.

Иногда Лене хотелось поплакать перед тем, как выйти из дома, чтобы нос стал красным, припухшим, а глаза — растерянными, принять вид беззащития, пронести сквозь кафель ванной и белые локти матери свое кокоро наружу, отдать на растерзание первым встречным в утренней маршрутке —

быть заплаканной вовне,

и тогда вокруг точно, Лена знала, словно голуби, слетелось бы многое множество свидригайловых; хотя с ними не потанцуешь, даже саблей по плечам и выше — к шее, а тут же разрушишься, в какой-то мере она жаждала и их, —

но тоже боялась,

а потому каждый день пряталась в джинсах, не плакала, бережно хоронила лезвие за голубой плиткой и никому не смотрела в глаза.

* * *

Один только раз они по-настоящему дрались. Лена практически не помнила саму драку, зато то, как они в неё ввязались, знала наверняка.

Грузно нарождалась теплая ранняя весна, расквашенные грязные улицы и клочковатый

снег вдоль бордюров; черными дырами зияли канализационные люки, на которых иногда располагалось по пять кошек сразу, но чаще сидели по трое, бок-о-бок. Если б Вилка в ту ночь выкинула свою за окно, ничего бы ей не случилось: как и люди, непогоду они переживают сообща.

В тот день малышей было четверо: Рыбка, Вилка, маленькая Динара и Лена; они гуляли. Конечно, спроси их кто, хотели бы они подраться в тот день, мечтали ли о том, каждая из них тут же замотала бы головой, мол, о чем вы вообще говорите. Конечно, они действительно не хотели драться, вернее — бить. Подраться, может, кто и был не против, но бить они не хотели. Нет, увольте, только не бить.

Лена потом много думала над тем, что случилось, над тем, что за чувство переполняло в тот момент — по какой-то странной причине — их всех, ощущение безумной ярости, смешанной со вседозволенностью; желание уничтожения, опьянение реальной возможностью, возбуждение, стремление надавить до конца, а там будь что будет. Они никогда о том не заговаривали после, как Динара — о том, как сильно она любила Соню, как Вилка — о том, что ненавидит до обожания отца, и как Лена — о том, насколько сильно тяготится своей тяжелой, полноводной матерью.

Избивали дворника. Он был немолодой и беззубый, какой-то хилый таджик, настолько слабый, что не мог даже чистить снег, зато он немного понимал по-русски — поэтому срывал старые объявления, наклеенные у подъездов, за семь тысяч в месяц, пять из которых отправлял домой, еще более слабой и немощной жене и внукам, потому что дети были уже взрослые и гнездились кто как мог по пригородам — стричь газон и металлолому допытываться.

Лена не знала, за что его били. Рыбка говорит, что не всегда злость оправданна и не всегда у неё есть повод. И что в таких ситуациях не нужно много думать, рассуждать о причинах и вообще — как-то медлить. Медлительность разрушает. Либо ты проходишь, опустив глаза, мимо, либо что-то делаешь. Здесь только интуиция: да или нет, правильно или пустое, нужно или убегай.

Так получилось, что двое белых ребят, впрочем, тоже не очень крепких, зачем-то избивали таджика. По возрасту он был им не ровня, судя по всему, по кругу общения — тоже. Так что драка произошла... наверное, просто так.

— Чтобы знал, сука, — прорычит один из парней.

Ну, значит, чтобы он что-то знал, ладно.

Рыбка, Вилка, Динара и Лена заметили их за домом, в проулке между стеной и гаражами. Таджик валялся в остатках снега, съездившись, что-то бормотал не то на русском, не то на своем. В такие моменты трудно следить за тем, что говоришь, трудно держать в голове, что ты в России и что ты — дворник, что здесь если по-русски, значит на голову выше остальных и можно еще как-то прибиться, отвоевать побольше, а не так, по остаточному принципу.

Динара остановилась первая. Замерла — и стала смотреть. За ней Рыбка, а потом и Вилка с Леной. Наверное, они о чем-то говорили, но, когда заметили копошение у гаражей, у Лены вырвалось лишь тихое «ой». Оглядевшись, они поняли, что на улице больше никого, кроме них, нет. И вот тут было то самое, о чем когда-то скажет Рыбка. Уматывай или оставайся, соучаствуй или сострадай.

Они не сговаривались, просто побежали. Совсем скоро, буквально через пару мгновений. Как по команде, все вместе — туда, к гаражам.

Лена вспоминала потом, было ли ей хоть капельку страшно.

— Ну вот представь, ты такой идешь по дороге, допустим, ну или по полю или еще где — неважно, в общем, — а внизу вдруг пропасть. Ты даже не успел подумать, мол, «вау, да это же пропасть, вот засада-то», а просто падаешь туда, словно тебя кто-то толкнул. Весь прикол в том, что тебе совсем не страшно. Хотя, может, это только у меня так было... Даже наоборот — очень весело и здорово. Ощущение такое... м... счастливой полноты, что ли. Переполненности, вот! Когда хлещет через край.

Лена не врала, сама драка действительно не казалась страшной. Пугало другое: то чувство, что в них во всех родилось и с которым все они — хвала небесам — справились.

Когда они добежали до гаражей, оказалось, что парням было на вид лет по шестнадцать: у таких обычно вместо ногтей — обгрызенные тусклые пластинки, джинсы пахнут псом и куревом, а голоса еще сильные и одновременно звонкие, как бьющееся стекло, с остатками возрастного перелома. Впрочем, они были довольно высокие и крепкие; возраст сказывался только на неуправляемости силой и подловатом страхе — избивать во что бы то ни стало только не одному и в то же время — совершенно без причины.

— Эй! — почти рывкнула Вилка, уже подбегая.

Парни обернулись на крик, оставив дворника, и, немного смутившись, даже переглянулись.

— Валите отсюда! — раздраженно выпалил один, рассмотрев худых и «совсем девчонок» девчонок, которые к ним приближались.

Но Лена не остановилась. Вилка, Рыбка, даже Динара — все как-то разом ощутили невыносимую ненависть к этому рыхлому слякотному снегу, расквашенному под усердной работой измятых кроссовок парней; к этому нелепому дворнику, который, словно собака, скукожился, сухопарый, в этой полоумной возне между ударами сверху; к этой немоте и безучастию шоссе, что гудело всего в нескольких домах отсюда, где, возможно, именно сейчас проезжал Вилкин любимый папулик на новенькой машине.

Отчетливей всего Лена запомнила железный привкус во рту — она укусила одного из парней за ухо. Тот заорал, пытаясь спихнуть её со спины, но Лена вцепилась в него, словно безумная — и продолжала сжимать зубы, словно ничего не замечая. Уже после этой небольшой драки, после побега от полиции, после ссоры с полноводной и вечно озабоченной какими-то хмурыми заботами матерью, после всего этого она довольно долго пыталась понять, что же заставило её так поступить. Ну ударить, ладно, ну со спины — тоже еще хоть как-то... Но укусить — это ведь что-то совсем из животного.

Из животного:

каждый раз, когда наблюдаешь за Динарой, если у Малахова по телевизору приглашенные подростки, их базарнообсуждаемые «войны», — наблюдаешь, как едва заметно меняется её лицо, ожесточается, что ли, покрывается невидимым, но прочным панцирем,

каждый раз, когда смотришься в зеркало заднего вида Вилкиной субару, а потом приходишь домой — и в ванной на саму себя; тогда от сладострастного томления или злости и неприятия всего, что только возможно принять, хочется что-нибудь разрушить, раскромсать, уничтожить и более всего — саму себя, как источник,

каждый раз, когда отчим отчитывает за неготовленный ужин и больно хватает за руку, или когда в дом наваливается ватага его пьяных друзей,

как тогда — изломанных осипших братниных, благо госпожа бабуля глуха и не соображает.

Каждый гребанный раз, когда происходило все то, что для чего-то там, наверху — Лена усердно в это верила — нужно, каждый раз это вызывало угрюмую неразрешенность, смесь бо-

язни и неверия (не_до_), наслаивалось, точно наполеоновский кусок — слой за слоем, фрагмент за фрагментом, чтобы потом — вот так вот — вылиться в ожесточении, вылиться в предел.

Лена была счастлива, что не откусила ухо совсем (это был тот взгляд, тот самый взгляд, тандец с саблей, чеченские юбки, габали, путающиеся в ногах, гордость порочности невинного взгляда), хотя чувствовала, что, еще чуть-чуть, и переход неизбежен. В противном случае, как ей казалось, она тотчас бы умерла, ибо бездушным на земле нет места. Очерстветь, обозлиться и прогнать духовно, напившись ядом от внешнего — вот чего она боялась больше всего на свете.

— Я думала, я убью их, — произносит едва слышно Динара, когда они вернулись в Вилкину квартиру, чтобы умыться и сменить запачканную одежду. — Это не просто слова. Я знала это, — добавила она, глядя в пол. — Я ощущала решимость.

Может быть, именно сбившийся надломанного голоса визг того парня привел их в чувство. Они как-то разом отскочили назад, словно опомнившись, хотя еще минуту назад били, не глядя, что только было отчаяния. Лена заметила, что подъезжала полицейская машина, видимо, кто-то из соседей вызвал на крик, что у Динары были мокрые щеки — она редела (выла, она выла, называй все так, как оно было на самом деле; она выла, будто брошенный всеми сумасшедший мамулик, мамулик-я-не-умею-ходить-в-магазин, мамулик-принеси-мне-ту-бутылку, дурацкий никчемный мамулик Вилки) все то время, пока наугад махала кулачками рядом со вторым парнем.

Когда они заметили полицию, пришлось убежать. Парни смотались первые (как только девчонки отскочили от них), сплевывая на бегу кровь и подтягивая сползшие джинсы; Рыбка, очнувшись, велела всем тоже убегать, а сама тут же подлетела к дворнику, что полз все это время на коленях куда-то в сторону и спросила, чем ему нужно помочь. Тот удивленно и радушно посмотрел на неё, весь мокрый, в снегу и крови, и быстро-быстро помотал головой, чему-то как бы в страхе улыбаясь.

Рыбка, немного помедлив, кивнула и побежала вслед за остальными.

Никакая полиция их, понятное дело, преследовать не стала. Покурили, побасили немного под окнами вызвавшей их пожилой дамы, сде-

дали вид, что дворника не заметили, хотя брезгливо глянули в его сторону, пробубнили что-то по рации — и буквально через семь минут укатили назад, к шоссе.

* * *

Больничным охранником, как ни странно, их пропустил.

Больница не спала: рядом со зданием шуровали какие-то рабочие, грузили газели и пару облезлых грузовичков. Белые халаты медсестер и нянечек то и дело выныривали на крыльцо и, передав что-то, спешно юркали обратно.

Время посещения уже давно прошло; Миша хотел сунуть охраннику денег, даже приготовил заранее тысячу, но тот, лениво и в то же время по-хозяйски закуривая у подъездной дорожки, лениво же отмахнулся.

— Э! Все равно там шас черт знает что творится, хе-хе, — он неодобрительно покачал головой и поглядел в сторону служебного входа в здание, будто даже улыбаясь. — Закрывают нас, — и, спешно затянувшись, добавил: — Идите смело.

Несмотря на двенадцатый час, в коридорах было полно народу. Нянечки бегали туда-сюда с коробками; медсестры, неслышно шелестя по начищенному кафелю, деловито таскали с верхних этажей вниз контейнеры со шприцами, повязками, хлоргексидином. Некоторые уводили выползших аж на первый этаж больных старух, которые напугано озирались и что-то как бы удивленно бормотали, в их палаты.

— Молодые люди, вам чего? — в голосе дежурной медсестры было поровну усталости и нетерпеливой раздраженности человека, которого постоянно отвлекают по пустякам. Она не сидела за своим столом, а будто только к нему подошла: стоя, собирала в папку какие-то записи.

— Мы к подруге. Её сегодня привезли, она... порезалась.

Сестра ни капли не смутилась, даже не спросила фамилии пациентки; принялась было рыться в огромной куче спутанных бумаг, каких-то записей, но, тут же плюнув, лишь проговорила:

— Слушайте, это где-то на четвертом, туда всех после реанимации отвозят. Поищите там.

Кругом творился какой-то хаос: некоторые деды и старухи с вылезшими волосами, оставленные без присмотра на скамейках вдоль коридоров, плакали, сидя в одних ночных рубашках;

другие беспомощно сидели на своих кроватях в темноте палат; нянечки пытались укладывать больных спать, но те выползали снова, и, как безумцы, снова же начинали плакать или шататься по коридорам, все как бы чего-то выспрашивая.

Складывалось ощущение, что это не больница вечером, а походный лагерь перед утренними сборами.

Выловив одну из медсестер на четвертом этаже, Вилка спросила, что происходит.

Та, быстро глянув на них, словно оценивая, можно ли им доверять, возмущенно затараторила:

— Скоты, закрывают нас! Представляете, только вчера об этом объявили главврачу, мол, через три дня чтоб полностью здание освободили. И вот как хотите, так это и устраивайте, хоть ночью все грузите! Таблетки и оборудование ладно, а больных куда? В срочном порядке вон обзванивали весь день соседние больницы, никто не берет, у самих ломится. Все, кто мог, домой поуждали, в платные перевелись, а старики эти? У многих и родственников-то нет, чтоб забрать. Вот и бегаем, как угорелые, — продолжала медсестра. — Ну ладно бы слили, это еще как-то можно было бы понять, а тут просто — на тебе! — мы вас закрываем. Гостиницу они, прости Господи, строить будут, — выдохнув, она ненадолго будто загнулась, а потом, словно вспомнив о коробке в руках и о том, что на разговоры у неё сейчас меньше всего времени, раздраженно выпалила: — Эвакуируемся мы, вот чего, — и заторопилась к лестнице.

Коридор длиной в семьдесят метров, затем поворот, и примерно столько же еще — две огромные линии в несколько десятков палат.

Они заглядывали абсолютно в каждую. Иногда к ним привязывались старики: некоторые совали им свои вещи, какие-то пакеты и что-то шамкали беззубыми ртами, другие молча плелись сзади, думая черт знает о чем, видимо, о чем-то истинно стариковском, большинство же просто не обращало никакого внимания — копошились в кроватях, или у стены, или в проеме палаты. Все они походили на маленьких детей, которые совершенно ничего не понимали, а потому боялись, сами не зная чего. Неопределенности?

— Её нет нигде, а тут страшно. И Олега нигде не видно. Он же должен был уже здесь быть, да ведь? Он... — начала канючить было Крохотка, но Вилка тут же крепко взяла её за руку. Одна из старух, которая волочилась за ними практи-

чески из первой палаты в коридоре и все что-то приговаривала себе под нос (и которую уже как третий раз Лена отводила обратно), участливо взяла её сухой ручкой за другую.

— Ща найдем, — тихо выговорила Вилка, продолжая идти и озабоченно заглядывая в каждую новую дверь.

Четвертый этаж они обошли три раза. Все остальные — два. Снова спустились вниз, искали дежурную, наконец нашли и пристали к ней.

— Да не знаю я, где она, что вы ко мне прицепились! Нет так нет, что вы, не видите что ли, без вас забот хватает! Может, её выписали уже, не знаю.

— Из реанимации — выписали? — усмехнулась Вилка.

— Но она же пациентка! — возмутился растерянный Миша.

— Да хоть сто раз пациентка, милые мои, хоть сто раз! — дежурная кинула белую плотную руку на грудь. — Если не нашли, приходите утром, поспокойней будет. А сейчас я этим заниматься не буду, и так дел по горло.

— Но нам сейчас нужно! — почти заплакала Крохотка.

— Им тоже, — тут же выпалила вдруг со злостью дежурная, указывая большим пальцем вверх, видимо, говоря о правительстве, — нужно. И, представьте себе, тоже именно сейчас, — с этими словами она подхватила два плотно набитых пакета и направилась к выходу.

Все молча замерли, словно чего-то ждали, словно не верили, что вот сейчас — конец, тупик, последний, так и недостигнутый предел, что нужно так просто и покорно, подмявшись, возвращаться к машине.

Одна из старух, та, что молча шамкала сухими губами и по-детски радостно с любопытством вглядывалась в их лица, та старуха, которая отчего-то зацепилась в одном из коридоров маленькой ручкой за ладонь Крохотки, вдруг просипела, сияя улыбкой:

— Их несколько привезли, — и радостно, как бы ожидая чего-то, переводила взгляд с одного лица, обращенного на неё, на другое.

— Кого, бабуль? — хотела было спросить Вилка, но старуха живо отмахнулась и продолжила свое.

— В реанимацию-то. Я видела! Их несколько сегодня привезли в реанимацию, — она лукаво улыбнулась, радуясь обращенному на неё вниманию, — а потом увезли. Тут не принимают больше, — и старушка, как бы ожидая похвалы, с полуоткрытым ртом продолжала внимательно глядеть на бандовых.

— Бабуль, что ж ты раньше-то молчала! — радостно взвизгнула Крохотка, старушка засмеялась сухим отрывистым смехом. Крохотка, счастливая, обняла её.

Выбежала медсестра, видимо, весь день занимавшаяся лишь тем, что возвращала в свои палаты слонявшихся туда-сюда стариков. Она недовольно глянула на Мишу, заметив, что происходит, как бы сочтя его виновным за все, что случилось в больнице в последние несколько дней, и, протиснувшись между бандовыми, увлекла за собой старушку наверх, в коридоры.

Лена, внимательно поглядев на остальных, оставшихся стоять в какой-то полудремотной ватной нерешительности, вдруг улыбнулась и последовала к выходу.

— Не всё же они тут позакрывали, — сказала она, не оборачиваясь, но все еще улыбаясь чему-то своему. — Поищем Рыбку в другой.